

Булыгина Т.А.

ДИАЛОГ С ПРОШЛЫМ: СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В ИСТОЧНИКАХ МЕСТНОЙ ИСТОРИИ

Диалог, который ведет исследователь с источником, начинается со знакомства с автором, какой бы статус он ни имел – безымянный, коллективный, конкретная личность. Через автора исследователь выходит на эпоху, в которую был создан источник, погружается в нее, чтобы понять прошлое. Обращаясь к Ю.М. Лотману, мы можем говорить о диалоге через такую универсалию как граница, т.е. черта, «на которой кончается периодичная форма». По мнению ученого, части семиосферы на временной оси организованы в системе «прошедшее – настоящее – будущее», а между ними находится граница [4, с. 175, 178]. Через нее происходит мощная циркуляция текстов через диалог как асимметрию приема и передачи информации [4, с. 193, 204].

Практикующий историк непременно сталкивается с необходимостью пересекать множество личностных и временных границ посредством диалога с источниками, благодаря чему только и возможно вживание, о котором писал М.М. Бахтин. Он считал, что только так можно понять человека прошлого, «ценностно увидеть изнутри его мир так, как он его видит, стать на его место» [2, с. 106]. Характер информации, которую добывает из источника исследователь, в значительной степени зависит от его вопрошания к авторам этих документов. Поэтому, на наш взгляд, нет специальных источников по социальной истории, по истории повседневной жизни, а есть умение историка перейти временную границу и «вжиться» в мир источника. По П. Рикёру, источники представляют собой «сферу коммуникации сознаний», «сферу диалога, где «другой» отвечает на вопрошание», «сферу всегда открытую и ведущую спор» [6, с. 45].

Обратимся к источникам региональной истории, которые могут раскрыть слабо изученные стороны жизни локального сообщества одной из частей северокавказского региона – Ставрополья. Как известно, подходы к источникам региональной истории могут осуществляться в контексте различных исследовательских парадигм [5]. В данном случае мы попытаемся поговорить об источниках ставропольской истории 1917–1964 гг. с позиций такого предметного поля, как «новая локальная история». Во-первых, мы исходим из активной роли познающего субъекта; во-вторых, отметим междисциплинарность, социокультурный вектор изучения и множественную контекстность локальной истории.

При обращении к таким источникам, как официальные письма граждан и организаций во власть в 1920-е гг., главным для исследователя является анализ коммуникативных практик представителей самых разных групп местного социума – от общественных организаций до локальных сообществ и отдельных личностей. Интересен процесс эволюции социальной репрезентации различных групп населения, изменения в самоидентификации индивидуумов, а также появление новых маркеров принадлежности к советскому социуму. Говоря об источниках социальной истории местных сообществ, не надо забывать, что местная власть – это не только абстракция. За этой метафорой стоят реальные люди прошлого, составлявшие одно из микро-сообществ региона. В социокультурном контексте историка интересуют такие вопросы, как характер самосознания местной номенклатуры, особенности ее интерпретации политики Центра, представления людей из местной власти о новом обществе и месте различных социальных страт в строительстве этого общества.

В частности, многие архивные документы из истории хозяйственной повседневности доказывают многомерность их информации для исторического анализа. Например, в распоряжениях местной власти о замене труда военнопленных трудом отечественных безработных проявляется наивность, упрощенное представление о решении проблем безработицы. С другой стороны, еще не напуганные массовыми репрессиями местные работодатели проявляли сопротивление этому приказу, т.к. многие из военнопленных знали «всю работу», а безработные были случайными людьми. Кроме того, за труд военнопленных платили гораздо меньше [3, с. 34]. Безработные тоже не были молчаливой жертвой обстоятельств, а громко заявляли свои права на работу, выполняемую военнопленными. Материальная нужда способствовала превращению обращений во власть в доносы [3, с. 36]. В одном из источников в марте 1920 г. слышны отзвуки гражданской войны и военных реквизиций, которые не пощадили и классового союзника большевистской власти – бедных крестьян. Многие из них – жители окраинного Каменолом-

ского района лишились единственной лошади по «мобилизации» и остались без средств к существованию. Язык обращений крестьян несет на себе печать дореволюционных традиций, коммуникативных практик «подданный – власть». Об этом свидетельствует уже тот факт, что заявление именуется по-прежнему «прошением» [3, с. 36].

Не менее существенную информацию по социальной истории Ставрополя содержат документы, связанные с налогообложением и землеустройством. Так, жители хутора Белокопского, что располагался около села Дербетовки, просят отделиться от села для организации самостоятельного «приселка», т.к. разверстка на село ложится в основном на плечи хуторян. Резолюция на этом заявлении председателя уездного исполкома демонстрировала доминирование в сознании местных управленцев классового характера отношений власти с жителями. Исполком потребовал для решения вопроса предоставить сведения «о рабочих и не рабочих» на хуторе, об имущественном положении населения, которое определялось числом лошадей и скота [3, с. 47].

Новые хозяйственные отношения разрушали общинное сознание местного крестьянства. В частности, в заявлении части крестьян села Тугулукского 1926 г. высказывалась просьба не проводить землеустройство, т.к. это разрушит общину. Уполномоченный от имени членов общины называл жителей села, желавших землеустройства и раздела земли, «группой», хотя эта группа численно была гораздо больше общины. Проблема межвания вскрывала сложность социальных отношений в отдельном локальном сообществе, проецируя общие социальные тенденции на жизнь конкретных местных жителей [3, с. 142–143].

Архивные документы 1920-х гг., сохраненные в местных архивах, представляют социальные институты, элементы властных структур Ставрополя не в виде застывших форм, а в богатстве их динамики и взаимоотношений в контексте повседневной жизни локальных сообществ. Исследователю необходимо раскодировать символы, содержащие как антропологическую, так и социальную информацию, чтобы «раскрыть эти причастные и напластованные смыслы, чтобы выявить позицию, занятую различными сознаниями в отношении значений, вложенных в их действия» [1, с. 15]. В этих текстах начинают проступать осязаемые контуры образов таких абстракций, как «продовольственная разверстка», «кнэп». Они приобретают человеческую конкретность с людскими интересами, горизонтами ожидания, эмоциями и настроениями. В заявлении работника губернского профсоюза о снабжении бойца продовольственного отряда «снабжение» приобретает осязаемый смысл и свидетельствует о характере этого снабжения. Потребление различных групп населения вовсе не было таким уж уравнивающим. С другой стороны, то обстоятельство, что вместо имени продотрядника был указан его номер, свидетельствует о нарастании таких признаков новой социальности, как нивелировка личности и секретность функционеров власти. Конкретная ситуация приоткрывает реальные конфликтные отношения продовольственных отрядов с местными жителями, т.к. для безопасности бойцов надо было скрывать их имена [3, с. 44].

Интересный материал для реконструкции психологии локального сообщества и образов массового сознания эпохи 1920-х гг. дают язык обращений, оговорки и ошибки. К примеру, в протоколе 60 жителей села Донского за 18 октября 1920 г., составленном местным начальством по образцам газетной риторики: «горя пламенем желания», «пойти навстречу голодающим», «рабоче-крестьянское правительство», встречаются и совсем иные замечания. Дело в том, что начальники были местными жителями, а, значит, носителями локальной социальности. Поэтому среди пропагандистских лозунгов типа «укрывателям хлеба места нет» бессознательно вырвалось «оторвать от своего рта по четыре пуда». Последняя же приписка к протоколу вообще вступает в противоречие с общим тоном документа и фактически перечеркивает его смысл, раскрывая истинную причину собрания: «После выполнения нами этого постановления просим освободить наших заложников» [3, с. 57].

Сутью частных и официальных обращений и иных документов является коммуникация, прямая и опосредованная направленность «другому». Они раскрывают сложность социальных связей и отношений, включая образ мысли, стереотипы поведения, желания и интересы как отдельных индивидуумов, так и локальных сообществ региона. При таком подходе «рассказчиком» становится и сухой реестр. Так, акт комиссии по реквизиции и конфискации вещей 72 граждан Ставрополя, которые были признаны «буржуями», реконструирует как прошлый быт горожанина, начисто разрушенный социально-политическими катаклизмами, и потери горожан при новой власти, так и горизонт ожидания «конфискаторов» [3, с. 59].

В 1917–1919 гг. формы и механизм общения низов с властью четко остаются традиционными, т.к. руководители Белого движения старались не выходить за рамки дореволюционных норм жизни. Форма, адресанты и адресаты в это время остаются прежними. Несколько меняется риторика обращений с учетом событий в Петрограде, но она в этот момент не несет признаков изменения массового сознания. Обращение служащих почтово-телеграфного отделения Ставрополя председателю КОБ содержит лексику либеральной прессы: «братья-солдаты», «чтобы и нас в лице народа считали товарищами», «во имя народного блага и родины». Главная же их забота – участие в общественной жизни города, причастность к новым политическим реалиям. Очевидна попытка части местного общества приобщиться к новой социальности и успеть занять в новом социуме комфортное место [3, с. 186].

Анализ данной группы источников свидетельствует, что и в недолгие месяцы первого прихода к власти большевиков в 1918 г. в Ставропольской губернии механизм общения жителей с местной властью оставался прежним. Только после окончательного утверждения большевистской власти в регионе весной 1920 г. наблюдается переход к новым формам обращения народа во власть, которые вырабатывались под влиянием целого комплекса факторов. Речь идет и об опыте революционных месяцев, и о влиянии Гражданской войны, и о действии официальной советской идеологии через устную и печатную агитацию и пропаганду. Это свидетельствовало об изменениях в массовом сознании местного сообщества. Заявление жителей села Сухая Буйвола в мае 1925 г. уже не содержит старой лексики, да и по содержанию соответствует новым идеологическим установкам, воспользовавшись которыми, беднейшая часть жителей решила обеспечить себе благоприятные условия хозяйствования. Так, крестьянин из этого села требовал от мелиоративного товарищества вернуть членские взносы и деньги для землеустройства, т.к. он выбыл из товарищества. Здесь уже звучат фразы, демонстрировавшие социальный и материальный статус заявителя, категоричный характер обращения: «у меня 5 душ и самообложение уплатил 80 коп.», «прошу разобрать дело», «прошу принять меры» [3, с. 186].

Социальная история предстает в этих источниках как разнообразие интересов, повседневных, коммуникативных и поведенческих практик. Данные источники предоставляют реальные возможности для освещения местной истории с позиций «новой локальной истории». Социальные процессы общенационального характера представлены в архивных материалах, опубликованных в сборнике «Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1917–1929 годах», через жизнь отдельных индивидуумов, через бытие конкретных семей, жителей деревень и городов Ставрополя в 1920-е годы.

1. Арон, Р. Избранное: Измерения исторического сознания / Р. Арон. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), – 2004. – 528 с.

2. Бахтин, М. М. Собр. соч. : в 7 т. / М. М. Бахтин. – М. : Русские словари ; Языки славянской культуры, 2003. – Т. 1 : Философская эстетика 1920-х годов. – 321 с.

3. Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1917–1929 годах : сб. док. – Ставрополь : ОАО Издательско-полиграфическая фирма «Ставрополье», 2009. – 711 с.

4. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 464 с.

5. Маловичко, С.И. История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки. Статья вторая / С.И. Маловичко, М. Ф. Румянцева // Региональна історія України : зб. науков. ст. / голов. ред. В. Смолій ; Ін-т іст. України НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 39–54.

6. Рикёр, П. История и истина / П. Рикёр. – СПб. : Алетейя, 2002. – 397 с.

Казakov Р.Б.

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В РОССИИ И МИРЕ: К ВОПРОСУ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ СТАТУСЕ

Историческая библиография 1) как библиография отраслевая и 2) как вспомогательная историческая дисциплина преподавалась в СССР, начиная с 50-х гг. XX в. [3, 4, 8, 9]. Анализ интернет-ресурсов показывает, что курс «Историческая библиография» (или курсы близкой проблематики) в 2010-е гг. существует в Кемеровском (библиографическая практика бакалавров), Кубанском (Краснодар), Санкт-Петербургском (курс «Библиография новейшей истории России» и очень сильно отличающийся по проблематике курс «Историческая эвристика»), Тульском (курс «Историческая эвристика») [6], Южном федеральном (Ростов-на-Дону), Ярославском университетах. В практиках преподавания в этих вузах есть несколько общих проблем, стабильно